

БЕЖИН ЛУГ

Я не бывал на Бежином лугу,
но отчего он так запал мне в душу?
Я, как своё родное, берегу
ночной костёр, и "бяшу", и Павлушу.

И тот внезапный, тот ознобный звук
из чрева ночи или ниоткуда,
исторгнутый нечаянно и вдруг —
природы потаённая причуда.

Мне тоже доводилось на заре,
когда сполохи теплятся в затонах,
картошки, испеченные в золе,
как угли, перекачивать в ладонях.

По лугу разносилось "хруп" да "хруп" —
овсяница не мёртвая зелёнка —
пофыркиванье влажных конских губ
и, топкий в травах, топот жеребёнка...

ВЕСНА

Давай, зима, на посошок,
пригубим мартовской капли!
По свету носится слушок,
что на подлёте птичьих трели.

Весна с грачами на слуху.
Однажды ночью лопнут почки,
проснётся верба, вся в пуху,
и лес в зелёной оторочке.

А этот зябкий березняк
и этот паводок весенний —
вселенский праведный сквозняк
в канун Христова воскресенья.

Две тыщи лет — из года в год —
дух торжествует над каноном
и каждый праздничный восход
кропит пасхальным перезвоном.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Как раз мы были заняты едой,
когда ушастый, рыжий и худой
влетел дежурный, крикнул: - Пацаны!

Конец войны! Эй вы, конец войны!
И всё смешалось, грянуло "Ура!"

И эхо докатилось до двора.
Из кухни воспитатель: - Вы чего?
Мы, хохоча, глядели на него.

Хоть мы в те годы грезили едой,
швыряли миски с тыквенной бурдой,
горбушки по карманам и — айда! —
куда-нибудь на улицу, туда,
на снеговой Тянь-Шань, на белый свет,
где нет войны, где смерти больше нет!

Ревела Чу в булыжных берегах,
саманные домишки и бараки
вывешивали праздничные флаги
и бредили на разных языках:

на русском, на казахском, на иных
наречиях Советского Союза,
да что язык! — он был тогда обузой,
Победа породила свой язык —
тот самый, что важней и ярче слов:
язык улыбок, слёз, внезапных жестов...

Там пастушонок растерял коров,
тут бабушка сияет, как невеста!
Седой солдат, безногий инвалид,
детдомовцам суёт буханку хлеба,
он плачет и смеётся — жуткий вид!
Но, забывая, что и где болит,
он костылями салютует в небо!

Не площадь, не перрон — сплошной базар!
Чалмы, чубы, пилотки, тюбетейки...
Там укротитель с пляшущей змейкой,
А тут канатоходец из Джунгар!

Сияло солнце в этот майский день,
цвела в садах дунганская сирень.

ЖУРАВЛИ

Клином, караваном, вереницей,
вместе от начала до конца,
проплывают медленные птицы, —
задираем головы и лица,
простираем руки и сердца!

Как летят! привыкнуть невозможно!
В стае облаков белым-белы,
дарят нам печально и тревожно
влажное гортанное "Курлы".

Долетят до моря и растают,
но на радость жителям земли
журавли не только улетают
но и прилетают журавли!

Камыши и прибрежные ивы
поклоняются полой воде.
Ранний грач, смоляной и счастливый,
утопает в парной борозде.

Застоялось затишье ночное
над полями, над шапками гнёзд,
запах озими, дух перегноя,
ледяное мерцание звёзд.

ЛИСТОПАД

Душа такого не припомнит,
такого не было со мной:
шум листопада был приподнят
над кромкой леса, над стернёй,
над обомлевшею речушкой,
над пожелтевшею лозой
и над пастушкой с белой кружкой,
присевшей рядышком с козой.

* * *

Морозцем тронута рябина.
Качни - и заиграет гроздь,
резными гранями рубина
оледенит, озвучит горсть.

В затонах с порыжелой ряской
пролётным родичам вослед
вершится посвистом и пляской
хозяйских птиц кордебалет.

НА ОРЛИКЕ

Воды Орлика спокойны,
холодны и зелены.
Дух болотный, запах хвойный,
ожидание луны.

Шелестят в ночи деревья,
камыши в воде по грудь,
дремлет город, спит деревня,
проплывает Млечный Путь.

НА УРОКЕ

(Поток сознания)

Я не могу сосредоточиться...
У Генки прыщик на губе,
Ему чего-то очень хочется,
И он, мерзавец, льнет к тебе...

А вот в учительской по радио
Идет футбольный репортаж,
Но мой "Спартак" меня не радует,
И я берусь за карандаш.

Пишу записку остороженько:
Заметят — вызовут к доске,
Что в клубе железнодорожников
Трофейный фильм о Спартаке.

Бобров пасует на Федотова,
Ведет в атаку ЦДКА,
Ботвинник выиграл у Котова —
И все не в пользу "Спартака"...

Ты занята своими косами...
Вот снова Сальников с мячом.
Несчастный синус, бедный косинус.
А гладиатор обречен...

Спартак спускается с Везувия,
Татушин, Нетто, Симонян...
Там Сулла в приступе безумия,
Тут школьный дворник с утра пьян.

ОБ ОСЕНИ ПИСАТЬ...

Об осени писать — какой наглец!
О ней не раз великие писали...
Но как же быть, когда соседний лес
опять, опять в безлиственной печали?

Как не писать, когда в сухой стерне
старинный горьковатый запах грусти,
а в блеклой отпылавшей вышине
всё тот же плач несут над нами гуси ?

И будет так за окнами темно...
Случайный, а, быть может, не случайный,
ворвётся ветхий лист в моё окно,
хрустящий, как пергамент, полный тайны.

Кружитесь, листья, падайте на грудь,
ложитесь мне на голову и плечи,
и пусть ваш золотой и краткий путь

с путём пересечется человеческим!

И я бегу из дома, и до слёз
все так необъяснимо и так близко...
То листья поднимаются до звёзд,
то звёзды опускаются до листьев!..

* * *

Остывший Орлик, палая листва,
еще вчера блистательная крона,
изъедена червями и мертва,
заполонила зеркало затона.

Студёный ветер в зарослях куги
гудит, как домовой над пепелищем,
а по воде тяжелые круги,
а небосвод, как лодка кверху днищем.

Деревья, деревья и деревца
обнажены, черны, но беспечальны.
Природа! Нам бы воду пить с лица,
ей всё к лицу, любой наряд — венчальный!

ПОСЛЕДНИЕ ЛЬДИНЫ

Последние льдины плывут по реке,
апрельские лёгкие льдины,
плывут облака, отражаясь в Оке,
плывут голубые осины.

И мостик, разрушенный полой водой,
и сваи, поросшие мохом,
и трепетный запах травы молодой,
и ранних грачей суматоха.

Цветистый и праздничный сон наяву,
неведомый скуке и злобе,
весь мир на бегу, на лету, на плаву
в неведение, в страсти, в захлёбе...

ПРЕДЗИМЬЕ

Так небо пасмурно, и так вокруг темно,
что ни к чему не чувствуешь доверья,
всю ночь скребутся в мокрое окно
корявые и черные деревья.

Но лишь три дня, три дня тому назад
за этим вот окном, над этим лесом
кружился и светился листопад,
и это называлось бабьим летом.

И пахло листьями и выжженной стерней
и сыростью грибной несло в низине,
и лист кленовый, желтый и резной,
запутавшись, качался в паутине.

Но скоро, скоро, может быть, вот-вот,
вскружатся галки и снежок капризный
пойдёт-пойдёт, и сердце отойдёт
в предчувствии морозной, чистой жизни.

ПТИЦЫ

На весенние рощи и чащи
прямо с крыльев летучих зарниц
опрокинулся вещей и вящий
звон и гомон разбуженных птиц.

Им внимает и вторит округа,
вся природа потворствует им,
возвратившимся с райского юга
к чернозёмным гнездовьям своим.

Поневоле собьёшься на лепет,
будь хоть тысячу лет городским,
так доверчиво ласточка лепит
свой домик над балконом моим.

РЕЧУШКИ

Небогаты водою и красками,
в городишке, а чаще в селе, —
сколько их, безмятежных и ласковых,
протекает по нашей земле!
А за ними луга или выгоны,
а над ними раkitник, ивняк,
пастушата, легки и зашмыганы,
да гусей перелётный косяк.

Далеко им до Волги, но Родине
и такие речушки нужны,
пусть петляют себе огородами,
перелесками нашей страны!

СИРЕНЬ

На площадях, в садах и вдоль дорог
она царит свободно и беспечно,
неприхотлива, как чертополох,
как Золушка в наряде подвенечном.

Отрада городов и деревень,
всегда живая, праздничная гостья,
раскинулась, развесилась сирень,
к прохожему протягивая гроздья.

Как будто просит: - Рви меня, ломай!
Одаривая мною мир окрестный,
не забывай, что будет новый май,
я расцвету, я заново воскресну!

СТЕПНОЕ ОЗЕРО

Я увидел степное озеро,
когда на нет сошла луна:
вода, густая, как молозиво,
прохладных лилий белизна.

Дымилась гладь его зеркальная,
похоронившая луну,
созвездия зодиакальные,
отсыревая, шли ко дну.

А на закате бледно-розовом
бессмертники и ковыли
головки свесили над озером
и к водопою прилегли.

И вслед за жаркими зарницами
на берег хлынули лучи
с людьми, отарами и птицами,
перворожждёнными в ночи.

ХОЛОДА

Холода среднерусской равнины.
Опаленные кисти рябины,
голубые пары, зелена,
полусумрак короткого дня.

И распластаный дым в огороде,
и сугробы багряной листвы,
и усталая строгость в природе —
притупившийся траур вдовы.

СТОИТ ГОРА ВЫСОКАЯ

Шматок сала

Серёжку привезли после обеда. Сейчас время шло к вечеру, темнело, но председатель колхоза, толстый, бритый наголо человек, сидевший за столом в распахнутой шубе, разговаривал с мужиками и, кажется, не спешил определять судьбу новичка.

Серёжка пригнулся возле печки, от которой пахло угольной гарью, и подремывал, почти не вслушиваясь в разговор. Но когда кто-то входил в правление, хлопал дверью и, топоча о земляной пол валенками, сбивал снег, пацан поеживался от струи холодного воздуха, обводил взглядом мужиков, одетых в фуфайки и шубы, и поневоле пытался понять, о чем они спорят и что решают.

А они, как и час, и два назад, говорили о подписке на заем, о налоге за бездетность, о будущем урожае, который "должен быть", а также о самогоне, - и все это на русском, на казахском, на украинском языках. То была хотя и странная, но приятная смесь, характерная для этой местности — между Джамбулом и Чимкентом. Разговор, без повышения тона и почти без оттенков, усыплял Серёжку.

Лампу почему-то не зажигали, и лица мужиков становились видны только при свете сигарок.

Почти все курили самосад, заворачивая его в конторские бланки, запах горелой бумаги забивал даже угольный дух из поддувала. Только председатель колхоза, сидевший за столом возле окна и превращенный сумерками в силуэт, время от времени щелкал портсигаром и доставал из него папиросу "Беркут". Это была дешевка, даже беспризорники называли их "гвоздиками". Серёжке, невзлюбившему председателя с самого начала, казалось, что толстяк курит папиросы только для того, чтобы хоть чем-то отличаться от мужиков.

Пацану тоже хотелось курить, и не будь в правлении неприятного толстяка, он попросил бы у кого-нибудь табачку на завертку или хотя бы окурочку.

Будущая его жизнь во многом зависела от председателя — это он знал по рассказам дружков-беспризорников, из тех, кому довелось уже побывать в "воспитанниках колхоза".

Может, поэтому сегодня утром, когда ребят вывели во двор роно, чтобы распределить по колхозам, многие старались попасться на глаза именно этому человеку: хотя на его румянном гладковыбритом лице застыло полупрезрительное выражение, пацаны понимали, что у такого толстомордого хозяина и кормить должны получше, — а ведь шел сорок седьмой...

Стоял декабрь, было морозно. Беспризорники, одетые, как пришлось, мерзли, но председатели не спешили, приглядываясь и отбирая тех, кто им больше нравился.

Неопытные подходили к ребятам постарше, надеясь сразу пристроить их к делу. Другие, с ними толстомордый, знали, что от старших-то и следует ожидать всяческих неприятностей: станут воровать, отлынивать от работы, а чуть пригреет солнышко — поминай как звали. Не брать же совсем было нельзя, это вроде налога. Хотя начальство больше упирало на совесть:

"Бери, бери... Надо помогать, ставить на ноги... Глядишь, приживется, вот тебе и мужик в деревне!" Председатель в ответ только покачивал головой - что-то не очень они приживаются, эти пацаны, война разбаловала, приучила к базарам да вокзалам, заставь таких работать! Но, как на грех, в знаменитом колхозе "Путь к коммунизму", где даже в нынешнем году дали по шестьсот граммов на трудодень, один парняга задержался, да и не только задержался, но и женился и теперь тракторист из лучших. Это был единственный случай, но - был... Да нет, как ни верти, а брать надо, уж если не получится, то другое дело.

И вот толстый председатель подошел к Серёжке, стучавшему от холода зубами, и сказал воспитателю детской колонии:

— А чи узять этого заморыша?..

Все та же смесь языков...

Серёжке нравилось только то, что председатель толстый и солидный, но не нравилось его лицо и повадка, а значит, можно было ломать комедию: пацан мгновенно "сделал исусика" — лицом и фигурой изобразил забитость и послушание, и все потому, что вид председателя напоминал "шматок сала".

От райцентра до деревни ехали в санях. Скрипели полозья, лошади позвякивали сбруей. Вокруг расстилались снежные холмистые поля, а на горизонте сияли отроги Тянь-Шаня. Серёжка щурился от яркого солнца, в сорок четвертом он

переболел "куриной слепотой".

Лошадьми управлял угрюмый мужик. У него не было левой руки по самое плечо, и рукав, заправленный в карман кобуха, отдувался так, точно был накачан воздухом. Председатель называл его Семёном, подержался с ним непросто. Новичок, очень чуткий, как все бездомные пацаны, к отношениям между начальниками и подчиненными, понял это сразу. Говоря с Семёном (пацан, конечно, называл его мысленно дядькой Семёном) и осторожно подшучивая над ним, председатель, казалось, ни на миг не забывает, что сам он в новой дубленой шубе и каракулевой шапке, что у него власть над людьми и над этим мужиком, а у того никакой власти, кроме как над лошадьми, нет, шуба его облысела, особенно на отворотах и рукавах, а такую кроличью шапку впору носить вот этому бездомному пацану. Сознание всего этого позволяло председателю чувствовать себя хозяином и подшучивать над конюхом, но подшучивать осторожно, с поглядыванием на угрюмую Семёнову спину.

Серёжа замерз. Ботинки у него были старые, подошва на носках отклеилась, под нее набивался снег, приходилось вечерами ставить ботинки на печь, если таковая была... а к утру эти бедные чоботы так ссыхались, что в них было, как в деревянных колодках. На голове, почти на макушке, торчала серая женская беретка с шишечкой, а на теле, поверх сатиновой старой рубашки, больше размера на два, болтался пиджак, а точнее, китель без погон, Бог знает как оказавшийся на складе детской колонии.

Председатель, сидевший рядом с Серёжкой, будто и не замечал, что пацан полураздет и стучит от холода зубами; но толстяк и замечал, и слышал, и даже думал о новичке, но совсем в ином плане: он усмехался, представляя, что при случае можно будет вернуть в райкоме:

"А тут еще этот пацан — лишняя морока..."

Семён же, казалось, порывался обернуться к новичку, это чувствовалось по той стороне лица и спины, где сидел Серёжка, но в ту же минуту председатель начинал говорить, сбивая конюха. Он и теперь сказал как бы дядьке Семёну, а на самом деле новичку, потому что конюх знал то, о чем говорилось:

- Я ему и одежду справил, и на курсы трактористов хотел послать... Так шожты думаешь, чи не удрал? Удрал сук-кин сын!..
— Як бы хотел, то и послав бы! — буркнул дядька Семён. -А як бы послав, то вин, може, и не удрав бы...

Председатель не обратил внимания на слова Семёна и спросил Серёжку:

- Ну, а как тебя по фамилии?

- П-полозов! - еле слышно выговорил вконец замерзший пацан.

- Тэ-экс! Значит, Полозов Сергей... ладно, обойдемся пока без отчества. Ну... А долго ты собираешься у нас прожить? - с усмешкой добавил он, трогая Серёжку локтем, но глядя все на ту же угрюмую Семёнову спину.

— Н-не зн-наю, — ответил новичок, стараясь не стучать зубами.

- Та шо ты до его пристав! - сказал конюх тем голосом, каким говорят много курящие и кашляющие люди. При этом он, обернувшись, ожег председателя взглядом, и тот, мгновенно, ощутимо для Серёжки, подобрался. Пацан увидел небритое, с седой щетиной лицо конюха, нависшие седые брови, прокуренные зубы. И еще он заметил, что у этого человека огромная красная рука без варежки, и вдруг подумал, что председатель должен бояться этой единственной руки...

- Зарой ноги у сено, - не глядя на новичка, сказал конюх. Он чмокнул на лошадей, зажал вожжи между коленями и снял с себя шубу. Под нею оказалась старая шерстяная телогрейка.

- Ну-ка, надинь...

Шуба была тяжелая и теплая, пацан закутался в нее с головой и быстро отогрелся.

Председатель еще два раза пытался заговаривать с ним, но он делал вид, что не слышит.

- Что, Степан, опять беспризорника привез? Опять сбежит...

- Як весна прийде, зараз сбежить!..

Так говорили мужики, когда сани остановились у правления колхоза. Минут десять парень был в центре внимания, но на вопросы он не отвечал, вернее, перестал отвечать, когда ушел

дядька Семён. Мужики переглядывались и покачивали головами:

- Да, невеселый хлопец...

— Вовчентя...

От него отстали, а потом, в сумерках, и вовсе о нем забыли. Теперь ему хотелось есть, спать, он злился на председателя, но не решался о себе напомнить. Он наконец насмелился

прошептать соседу:

- Дядь, дай докурить...

При свете сигарки увидел широкие скулы и узкие глаза казаха и тотчас хорошо о нем подумал, принимая в руки чинарик. Голодный и усталый, он накурился тремя затяжками. Засыпая, он привык думать о чем-нибудь хорошем, что предстояло назавтра, и теперь ему пригрезилось, что с утра ему дежурить на кухне. Длинный и широкий барак, бывший когда-то складом для просушки табака, после эвакуации детдома в эти края приспособили под общежитие. В бараке размещалось больше шестидесяти кроватей, некоторые были двухэтажными, и сейчас, в самом начале Серёжкиного сна, ребята крепко спали, а он лежал с открытыми глазами и улыбался, ожидая, что вот станут видны очертания ветвей карагача за окном, его мелкие листочки, и тогда можно потихоньку собираться на дежурство.

- Эй, малый, как там тебя?! - услышал он голос председателя и открыл глаза. - Поди-ка сюда.

Отправляйся вот с этим дедом, будешь жить на свинарнике, работать будешь... Думаю,

Машка с Наташкой откормят... Да смотри у меня! — председатель помахал толстым коротким пальцем перед носом Серёжки, и тот еле сдержался, чтобы не отмахнуть этот жирный палец.

- Ага! Гляди не разворуй там навоз! - проворчал дядька Семён. Он, должно быть, только что вошел в правление - на лице у него была изморозь. Серёжка заметил, что от нервности у конюха подергивается обрубок руки и ему приходится заправлять в карман выдернутый оттуда рукав шубы. Наверно, это конюх и напомнил о нем председателю.

- Пишли, пишли, хлопче! - пробасил дед.

В правлении уже горела лампа, висевшая под потолком. Она коптила, отбрасывая ломаные тени, но никто не подправлял фитиль. Мужиков поубавилось, и Серёжка, уходя, так и не узнал, до чего они тут договорились за долгие часы сидения.

Дед запахнулся в длинный кожух, надвинул поглубже барашковую шапку, потопал тяжелыми пимами и подмигнул парню: "Пишли, пишли!" Дед был огромный, лицо его потонуло в бороде и усах, в воротнике шубы, по цвету близкому седине волос. Да пацан и не присматривался, хотелось поскорее добраться до жилья, а главное - до какой-нибудь шамовки. После разочарования в председателе свою надежду на "шмасток сала" пацан теперь связывал с дедом, вместе с которым они шли по темному селу. Дед шагал широко и, как многие грузные люди, оттирал своего попутчика на обочину, сталкивал его почти в сугроб. Если же Серёжка отставал, то и дед останавливался, поджидая его, а когда пацан прибавлял шагу, дед легко догонял его, так что новичку все время приходилось дышать запахом самосада и сыромятины от кожуха.

- Мене зовуть дид Бованенко, а тебе, га?! - благодушно басил дед, надвигаясь и все тесня своего попутчика. - Мовчишь? Та чи ты змерз? Нычого, зараз прийдемо...

Мучаясь от холода и голода, Серёжка искоса поглядывал на деда: прямо-таки идут себе по улице кожух да пимы, пыхтят самосадам, скрипят снежком! "Добро тебе, старый хрен, наелся сала и дымишь", - думал пацан, стараясь натянуть на уши беретку да запрятать кисти рук в рукава кителя.

Село было завалено сугробами, снег плотно укрыл соломенные и камышовые крыши, а из труб струился дымок, пахнувший соломой и кизяком. В некоторых домах не было занавесок, Серёжка с завистью смотрел, как люди ужинали. Посреди села дед остановился, поглядел на своего молодого попутчика, усмехнулся и сказал:

— Пидожды трохи, я зараз, — и вошел в ближайший двор, не имевший ни ворот, ни калитки.

Подпрыгивая, чтобы согреться, пацан мысленно обругал деда, который заставлял его мерзнуть, и подумал, что надо будет как-нибудь стянуть у него кисет с табаком.

- Ну, усе мовчишь?! - весело сказал возвратившийся дед и положил парню на плечо свою пудовую руку. - Вон, бачишь сараи, ото там.

За деревней, на пустыре, темнела длинная постройка, из-за нее был виден угол второй такой же, оттуда, несмотря на мороз, тянуло крутым запахом свинарника. Ближе к дороге примостилась хибарка, в окне горел свет. Из трубы вместе с дымом вырывались искры, чувствовался запах жженой соломы. Проходя мимо окна, Серёжка с радостью увидел ужинавших за столом женщин.

- Прийшли! - сказал дед, открывая дверь. В лицо новичку ударило запахом свекольного пара. Лампы в коридоре не было, окон тоже, но в широкой, точно паровозная топка, печи горела солома, и при свете был виден огромный котел - в нем бурлила свекла, присыпанная жмыхом.

Возле топки на земляном полу высилась горка соломы, а в угол были свалены вилы, грабарки, ведра. Здесь же стояли два маленьких стульчика, сидя на которых доят коров.

- Гей, дочки, примайте гостя! - вскричал дед.

- Видкрыто, видкрыто! - ответил из-за дверей густой и сильный женский голос.

Дверь отворилась, и голодный пацан увидел прежде всего на столе возле семилинейной лампы чугунок с мелкой картошкой в мундире. У двери стояла с приоткрытым ртом широколицая, да и в остальном широкая, женщина лет двадцати пяти, а за столом сидела, перекатывая в руках горячую картофелину, очень похожая на нее девушка - тоже светловолосая и гладкопричесанная и в таком же сероватом и старом платье точно бы из мешковины. Серёжка понял, что старшая - Маша, а младшая - Наташа.

Комната была маленькая. Грубо сбитый стол да две скамейки по бокам, а на печи горкой лежали подушки и байковые одеяла. Возле двери были вбиты в побеленную, но отсыревшую стену несколько длинных гвоздей, на них висели фуфайки, платки и старый плащ с капюшоном. Вот и все богатство этой единственной комнаты, где обитали новые знакомые Серёжки и где предстояло жить и ему.

- Боже милостивец! Який лядащий! - вскричала, глядя на парня, старшая сестра. А он, костлявый, заросший, с давно не чесанной и не мытой головой (в колонии перед освобождением гоняли в баню, но из-за холода пацаны только делали вид, что мылись), отчего волосы были похожи на потеки... он, из-за просторного кителя да еще потому, что замерз и съезился, казавшийся совсем мальчишкой, хотя ему шел пятнадцатый год, застыл посреди комнаты, уткнувшись взглядом в чугунок с картошкой.

— А ну, Наташка, геть на хверму за молоком! — скомандовала Маша.

Младшая сестра, косясь на новичка с любопытством и жалостью, схватила фуфайку, бидончик и бросилась к двери.

- Ешь, ешь картохи, - говорила пацану Маша, - и вы, диду, ищите.

Она заметила, что пацан готов есть картошку нечищеной, и, торопясь, стала очищать картофелины своими толстыми пальцами, откатывать их новичку, и ему оставалось только макать их в соль и отправлять в рот. Дед, снова пыхтевший самосадом, вдруг хмыкнул, глядя на Серёжку прищуренными и потонувшими в густых седых бровях глазами, и полез в карман своего огромного кобуха. Карман, казалось, был бездонным, и пока дед лез в него, не спуская хитрого взгляда с недавнего колониста, тот задержал дыхание и так сдавил в руке горячую картофелину, что чуть не прожег ладонь. Он уже догадался, что дед вытащит из кармана кобуха. Дед развернул бумагу и положил перед пацаном шматок сала! Кусок был небольшой, вмещавшийся на половине дедовой ладони, но и ладонь была широка, и в куске было не меньше двухсот граммов, да и проглядывавшая сквозь прорванную газетку чуть прижаренная шкурка, да и сама бумажка, отсыревшая и пропитанная жиром, да ко всему еще и солоновато-жирный особенный запах... Это было сало! Это был тот самый "шматок сала" - предел мечтаний каждого беспризорника! На долю секунды обладатель этого несметного богатства даже пожалел, что никто из его бездомных дружков не видит этот невероятный кусок. Мысль эта пронеслась стороной, и Серёжка почувствовал, что может заплакать, - и низко опустил над столом голову.

Сала он съел маленький кусочек, но и до прихода Наташи, когда он ел одну картошку, и после того, как запыхавшаяся девушка налила ему в большую алюминиевую кружку молока и он стал запивать им еду, - все это время он поглядывал на лежавший возле локтя невероятный подарок деда.

Сестры, сидя на лавке и сложив на груди руки, смотрели, как он ест, да и дед со своей бесконечной сигаркой, шуря глаза, глядел, как пацан захлебывается молоком, как ходят его скулы и натягивается желтая кожа лица.

Серёжка продолжал жадно есть, но уже наполнялся желудок, и появилась новая забота — покурить, накуриться досыта, иначе и еда не пойдет впрок... И он прикидывал, как ему поступить: попросить у деда на заvertку или проследить, куда старик бросит чинарик. - Мабудь, буряки зварылысь, - сказал сторож сестрам, и они все трое вышли в сенцы и завозились в котельной. Серёжка быстро оглядел пол и подобрал толстый недокурок - схватил его большим и указательным пальцами, словно пинцетом, и спрятал в карман, потом быстро откусил кусочек сала и проглотил его не разжевывая.

Он услышал, как дед вполголоса назвал его имя, говоря что-то сестрам, на что Маша ответила: "Добре! Добре!" Прислушиваясь, Серёжка быстро распотрошил толстый недокурок и завернул табак в аккуратно свернутую газетку, после чего досыта и не спеша накурился. Правда, ему приходилось убеждать себя, что все в порядке: он, конечно, не боялся ни сестер, ни деда, но было почему-то неудобно вот так вот напоказ затягиваться сигаркой после того, как они его накормили и пригрели. Его стало клонить в сон, и, примостившись на лавке, он задремал. И тотчас приснилось, что кто-то хочет отнять у него сало, завернутое в дополнительную газетку и припрятанное в карман, где лежала самодельная финка. Сон сложился мгновенно: сначала Серёжка оказался в Джамбуле на "Мучном" базаре с Кривым Баюрой; но в тот момент, когда они поднимались на холм, где и размещался этот базар, Серёжка во сне подумал, что все это сон - ведь Кривого Баюру он узнал после Джамбула, а в этом городе он был с Карабалой. Точно: с Кривым они познакомились в Арыси-второй, потом вместе попали в Чимкент. Но теперь, во сне, этот противный урка, усмехаясь своим большим ртом и вообще вихляясь, как это он умел, стал поправлять грязную повязку, закрывавшую его левый глаз, выбитый во время драки с ташкентскими блатными. При этом он лез в карман, где, как знал Серёжка, всегда лежит настоящая финка, и тут Серёжка поверил, что нет, это не сон, это... Он застонал и проснулся. Над ним стояла Маша. Она прикасалась к нему как раз в том месте, куда он положил сверток с салом.

- Вставай, хлопчик, вставай, - говорила она, умеривая свой сильный голос, - полезай на пичь, там тепло.

И так ему было радостно и безопасно слышать эту смесь украинского с русским, так до слез приятно понимать, что он не "на воле", а в жилище добрых людей, что он вдруг улыбнулся

Маше, и улыбка эта, неожиданная на его хмуром желтом лице, получилась такой благодарной и обезоруживающей, что и Маша засмеялась, показывая крупные зубы, и тут же, шутя, но чувствительно, хлопнула его по спине, выпроваживая на печь.

За окном начинался буран, в трубе выл ветер. В комнате похолодало. Хибарка не предназначалась для жилья постоянного, это была подсобка, временка, что-то вроде кормокухни или сторожки. Оштукатурили ее кое-как, даже окна пригнаны на глазок, сестры затыкают щели тряпками.

Но на печи тепло! Серёжка с удовольствием полез туда, но, когда Маша с Наташей стали укладываться рядом с ним, точнее, по обе стороны от него, он удивился - ему никогда не приходилось спать с женщинами рядом, так близко, так запросто, но он был такой усталый и разморенный, что не успел как-то отозваться на это, подумал - и уснул.

Но и эта ночь не была для него спокойной. Сначала как бы из пустоты послышался голос, и было непонятно, кому он принадлежит - взрослому или ребенку, женщине или мужчине, потом к нему стали присоединяться другие странные голоса, распиравшие голову, и наконец из этого жуткого хора выделился тоненький детский голосок и чистейшим дискантом

пропел: "Мо-ей причины плоскогубцы, тво-ей при-чины сор-ван-цы!" Серёжку охватил ужас, потому что невозможно было как-то объяснить, что все это значит, это было стихийное и запредельное... Он проснулся. Было страшно и обидно, - хотя боялся он не кого-то или чего-то конкретного, - именно эта размытость, неовощенность ужасала его. И в какой связи вспомнились ему зимние вечера сорок третьего года? Зима была сырая, от-тепельная, хотя само это слово "оттепель", произносимое взрослыми детдомовцами, казалось Серёжке неточным и даже издевательским: какая может быть оттепель, когда вокруг так промозгло, когда холод страшней, чем в любую буранную стужу? Они, малыши, редко ходили в столовую по вечерам, потому что жили тогда в отдаленном бараке. Обычно туда отправлялся кто-то из старших с двумя дежурными - они приносили сухомятку... Чаше всего это был кусочек кукурузного хлеба и мерзлая луковица. Для экономии в бараке зажигали всего одну керосиновую лампу, да и то в том конце, где обосновались старшие. Никогда не было точно известно, сколько времени придется ждать посыльных со скудным вечерним пайком. И многие задремывали от слабости.

А когда пришедшие из столовой вручали им кусочек хлеба с луком, они, полуспящие, полусонные, съедали этот несчастный кусочек хлеба и потом окончательно просыпались от чувства невероятного голода. Казалось, кто-то специально придумал это издевательство... ..Дед, подтапливая котел, из которого пахло теперь распаренной картошкой, увидел, что парень держится за живот, накинул на него свой тяжелый кожух и усмехнулся, говоря: - Це нычого, оббивсь молока с картохами. Бежи на двор... Когда Серёжка вернулся, сторож усадил его на стульчик возле себя.

- Ось, я тобі бурячка испик!

Печеная свекла, с прижаренной корочкой, с выступившей местами патокой - это была вкуснятина! Новичок начал успокаиваться после своего ужасного сна. Тем более что дед, закуривая, протянул и ему кисет и газетку. Серёжка накурился и сидел рядом со сторожем, глядя, как в топке схватывается, сжимается в комок, изгибается солома, а внутри остаются негорелые сгустки, и надо их ворошить кочергой. Ему было странно, что он может так спокойно думать о горящей соломе и слушать, как дед негромко напевает: "Стоить гора високая-а, а пид горою гаю-гай". Почти неосознанно Серёжка держал руку в кармане, где у него был шматок сала, подаренный дедом. Сам же сторож, заметивший, куда парень спрятал свой сверток, улыбнулся в усы.

Как часто не хотелось просыпаться по утрам в прежней его жизни! Еще в полусне вспоминал, где он - в детдоме, колонии, ремесленном училище или "на воле"... и что, и кто вокруг... и что впереди... и что сейчас, когда встанешь? Иногда вовсе бы не просыпаться!

Уснуть летаргическим сном, — об этом часто мечтали полуголодные и вовсе голодные пацаны, - и проснуться в иные времена, когда ни войны, ни голода, ты уже взрослый и живи, как хочешь, никто тебе не указ!

Но это мечты... А вставать все же нужно. Так нельзя ли хотя бы оттянуть подъем на полчаса, чтобы продумать и прикинуть, что и как. Если, например, сегодня суббота и нужно убирать территорию, - это одно, а если и суббота, и территория, но на завтрак тыквенная болтушка без хлеба, - то это другое, двойная неудача. А могло сойтись еще хуже: если ты, кроме всего прочего, еще и "дневальный" - так по-солдатски назывались обязанности тех же Дежурных, но не по кухне, а по барaku, подметать и мыть полы в этом необъятном помещении! Просыпаться в такие утра было мукой... Еще не открывая глаз ты представлял все закоулки под кроватями и под тумбочками, все выемки и щели, в какие надо проникать, - от одной мысли болела сорванная спина.

Но страшнее всего было проснуться должником. Проигрался в "очко", в "буру", в "орлянку"... да мало ли во что! Или же просто занял у кого-то горбушку до завтра — одолжил на время, всего на сутки, но с тем, чтобы завтра отдать уже полторы или две нормы, - жить-то хочется сегодня! Но и "завтра" наступало!

Ростовщики - вот кого ненавидели все: и "воры в законе", и простые "доходяги, суки и шестерки, щипачи и домушники"...

С ростовщицеством было связано самое жуткое воспоминание в его жизни.

Они с Карабалой лежали на втором этаже колониетских нар и не дыша слушали, как два блатяка Дрын и Пегий сговаривались утопить в уборной горбатого Виталика, ростовщика, которого кто-то из книгочеев, - а среди блатных попадаются заядлые книжники! - прозвал Цахесом, прочитав повесть Гофмана. Долгими вечерами, а то и до глубокой ночи один из колониетов рассказывал "роман", к примеру, "Белый ужас" — покоритель мужских сердец"или "Черный ужас" — покоритель дамских сердец"... Все эти душещипательные истории представляли из себя смесь придуманного и вычитанного из книг. Конец должен был быть всегда счастливым: воры побеждали "легалых" — милиционеров, прокуроров. Причем "Белый ужас" побеждала своей красотой и находчивостью, а "Черный ужас" — своей смелостью и вероломством.

Но история с колониетом-ростовщиком не была похожа на сказку, нет, ничего сказочного - один ужас, настоящий, не белый и не черный, такой, какой он бывает только в жизни. Длинный и хлесткий Дрын курил анашу, на воле у него были связи с дунганями и казаками, продавцами наркотиков. Послухам, за ним числилась и "мокруха", то есть убийство. Крепыш Пегий ухитрился подхватить малярию, да такую, что в минуту приступа он был слабее мухи. Его и взяли в Манкенте, когда он, обшарив все углы и закоулки "хавиры" (дома), был застигнут приступом и залез в хозяйскую перину погреться.

Карабала первым услышал шепот блатных и одними губами передал начало их разговора Серёжке.

Цахес давал в рост деньги, сахарки, горбушки, "бациллу" (масло)...

Он "забугрил", то есть поработил, всю колонию, но терпение блатных кончилось, когда он потребовал в уплату за долги живой товар - Пашеньку-сучонка; тот в свои четырнадцать лет был уже опытной и знающей себе цену "девочкой".

Серёжка с Карабалой не знали, как им быть: "настучать" они, конечно, не могли, предупреждать Цахеса было небезопасно, а главное то, что им не было жалко горбуна. И все же уснуть в ту ночь они не смогли. Утром Цахесу предстояло выносить парашу. Он разбудил соседа и пообещал ему скостить долг, если тот поработает за него. Белоголовый мальчишка, дуриком, за компанию, попавший в колонию, сразу же согласился, но его оттеснил от параша Пегий.

Цахес попытался поднять шум, чтобы разбудить блатных, которых он подкармливал, но, весь желтый от лихорадки, крепыш приставил ему к горлу финский нож и заставил поднимать зловонное судно.

Так вдвоем они и проследовали в уборную, а оттуда вернулся один Пегий. Через неделю в колонии устроили капитальную проверку, "шмон", но никого и ничего не нашли, и только спустя полгода тело обнаружили золотари...

...Зато как радостно было просыпаться в день дежурства по кухне. Зима на дворе и нужно рубить саксаул, носить из дальнего арыка воду, слякоть осенняя или весенняя, а в твоих ботинках хлюпает вода, и сырой курай никак не загорается, - все это не страшно, потому что ты - дежурный по кухне! Ты самый счастливый и уважаемый человек. Ты еще только проснулся, столовая закрыта, вставать рано, но уже с десятков пацанов ждут, когда ты откроешь глаза.

"Слышь, Серёга, бери мои ботинки, твои ведь текут... а-а, не налазят, жалко, может, возьмешь шапку!" - "Да ладно тебе, я и так принесу, что смогу!" - обещаешь ты. "Серёжка, вот тебе книга, ты ведь просил", - и тебе в руку суют затрепанную, но такую вожденную книжку Дюма "Двадцать лет спустя"...

Кто-то предлагает наносить воды или нарубить дров. Хотя ребята знают, что вечером ты поделишь с ними свою добычу: десятка полтора печеных картофелин, два-три початка кукурузы и лепешку-тапанчу...